

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

И. А. Голосенко, К. В. Султанов

КУЛЬТУРНАЯ МОРФОЛОГИЯ О. ШПЕНГЛЕРА О «ЛИКАХ РОССИИ»

В современной зарубежной и отечественной общественной науке существует заложённая П. Сорокиным ещё в 1950-е гг. традиция сравнительного анализа макросоциологических и культурологических теорий Н. Данилевского, А. Тойнби, В. Шубарта, А. Кробера, Ф. Нортропа и др. [1]. Причем имена первых двух социальных мыслителей в его анализе постоянно шли бок о бок. В ряду перечисленных имен их сближает не только относительная хронологическая близость, но и многочисленные концептуальные совпадения в толковании хода и структуры мировой истории.

Впрочем, были и вполне естественные отличия [2]. Рассмотрим, как О. Шпенглер в 20-е гг. нашего века трактовал историческую «судьбу России», помня, что это был один из центральных сюжетов знаменитой книги Н. Данилевского «Россия и Европа» (1869 г.).

В отличие от Н. Данилевского (1822–1885) — серьезного натуралиста и трезвого экономиста, стремившегося построить культурологию на естественно-научной основе, О. Шпенглер (1880–1936) мыслил скорее художественно, чем научно. Его книги были написаны стилистически привлекательно, но часто абсолютно бездоказательно. Он разрабатывал, не считаясь с общепринятыми понятиями социальной философии, символические концепты — образы оппозиционного характера: стиль — душа культуры, причинность — судьба, механизм — организм, природа — культура, жизнь — история, весьма произвольно применяя их в объяснении общественных феноменов. Хотя О. Шпенглер нигде открыто не ссылается на книгу Н. Данилевского, известно, что он ее читал на русском языке и в французском переводе. Во всяком случае, у него обнаруживаются не только общие темы, изложенные еще Н. Данилевским — отрицание мирового единства человечества и обоснование локальной дискретности культур, их контакты и гибель. Он даже мимоходом, несколько метафорично использовал слова «Россия и Европа». Это не было простым совпадением. Но как он их понимал — Россию и Европу?

Душа европейской культуры (О. Шпенглер называет ее «фаустовской») отождествляет себя с безграничным пространством, ее принцип — устремленность вдаль, активное погружение в бесконечность. И образ Бога для нее есть космическая персонификация бесконечности. Вот почему он вечен, бесконечен, всесилен. Отсюда, по О. Шпенглеру, жестокость, фанатизм и нетерпимость европейцев в делах веры. Отметим мимоходом, что на «насищенности» европейского харак-

Голосенко Игорь Анатольевич (р. 1938) — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН (Санкт-Петербургский филиал).

Адрес: 198052, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14.

Тел. (812)316-3270, факс (812)316-2929. E-mail: inso@ego.spb.su

Султанов Константин Викторович (р. 1937) — доктор философских наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48. Тел. (812)232-3157.

тера постоянно настаивал и Н. Данилевский, но распространил он эту черту не только на дела веры, но и на политические дела, хозяйственную жизнь и т. п.

Символ бесконечности, по Шпенглеру, находит себе подтверждение во всех сферах деятельности европейцев. Природа для них «не храм, а мастерская». Промышленная экспансия и бесконечно увеличиваемая по объему переделка природы, экономический рост провозглашены важнейшей жизненной целью. Бесконечность постоянно принуждала европейцев к целенаправленным скитаниям. Отсюда походы крестоносцев, великие географические открытия, заселение Америки и Австралии. Отсюда изобретение компаса и флота, автомобиля и самолета, телескопа и телеграфа. Мечта о создании мировой социальной системы не оставляет ни философские, ни милитаристские умы Европы. Именно европейцы изобрели социализм как заботу о «дальнем», а не о «ближнем». Ни одна другая культура не может похвастаться таким обилием утопий и фантастических романов, как европейская. Европейец живет не «теперь и здесь», как античный грек, а в прошлом и будущем. Это обусловило глубочайший историзм европейской культуры, культивируемый археологией, историей, нумизматикой, мемуарами, музеями. Внимание к ходу времени реализовано в широком распространении механизмов — хронометров, секундомеров, часов и т. п. [3]. Как и Н. Данилевский, О. Шпенглер опирался на аналогию культуры и организма. Старческий период организма в применении к культуре он называл «цивилизацией». Это кризисный, предсмертный период, что нашло отражение и в названии книги — «Закат Европы», он награждает ее следующими чертами: уродливой и гигантской урбанизацией, необузданным милитаризмом, тотальной бюрократией, распространением эрзац-искусства, невиданным культом денег, разрушительными войнами. Ряд схожих характеристик кризиса культуры обнаруживается и у Данилевского [4]. Многие из этих характеристик действительно имели место в истории Европы XX столетия. Но как правильно отмечает Э. Соколов, не все в его прогнозах совпало с исторической реальностью абсолютно: философия, поэзия, искусство не погибли, не были вытеснены техникой и бухгалтерским делом, на смену стихийной урбанизации идет движение за оздоровление городов. Европейская цивилизация энергично перестраивается. «Культуры не погибли, подобно одиноким старикам, брошенным на произвол судьбы, а имеют тенденцию к сближению и взаимодействию, формированию мирового сообщества» [5, с. 151].

Как же Шпенглер описывает русско-славянскую культуру? Если при определении западной, фаустовской культуры он категоричен, резок и четок, то когда он говорит о славянстве, становится неопределенен, осторожен. Впрочем, и он полагает, как Данилевский, что будущее вероятнее всего именно за этой культурой, ибо у нее есть шанс избежать кризиса аналогичного европейскому. Во всяком случае, именно этот мотив настойчиво прозвучал у него в докладе, прочитанном на съезде экономистов Рейн-Вестафалии 14 февраля 1922 г. в городе Эссене. Вот основные положения доклада, названного им «Двойной лик России и восточные проблемы Германии». При знакомстве с ними идейная перекличка с Данилевским просто бросается в глаза, иногда кажется, что немецкий автор своими словами пересказывает нашего славянофила.

1. Рассматривать Россию западно-европейскими глазами, с точки зрения европейских социальных идеологий, «расценивая русский народ как любой иной народ «Европы», неверно». Необходимо, во-первых, расширить сферу сопоставле-

ния. Понять «всемирно-исторический факт русскости вообще» можно только при сопоставлении этой культуры с большими, старыми культурами Европы и одновременно Китая, Индии, ислама и на протяжении веков. Во-вторых, надо понять ее народ и его душу, реализуемую в политической и экономической деятельности, в повседневной жизни. И тогда обнаружится, что «русский нам душевно очень чужд, так же как индус и китаец, в глубину души которых не заглянуть». Далее Шпенглер чуть ли не дословно цитирует Данилевского: «Россия и Европа» или «матушка» Россия против «отечества» западных народов, — вот два мира, которые друг другу далеки. Русский хорошо понимает эту необычность. Он никогда не преодолет, если он чисто русский, своей антипатии или наивного восхищения по отношению к немцу, французу и англичанину. Татарин и турок ему и понятнее и ближе». Если мы хотим узнать точные, действительные географические границы Европы, то надо воспользоваться картами, выпущенными в 1500 г. «Деятельность немецких рыцарских орденов на балтийских землях была колонизацией чужой территории и воспринималась ее участниками именно так» [6, с. 1].

2. Что дает сопоставление русской истории и западно-европейской, синхронно ли их развитие, плодотворны и органичны контакты? Аргументация Шпенглера во многом повторяет мотивы славянофилов. Вот что он писал: «Русская история с 900-го по 1900 годы не соответствует западноевропейской этого же периода, а сходна с временами от Римской империи до Карла Великого и Штауфенкайзеров. Наши героические поэмы об Арминиусе, Хильдебранде и Роланде, а также Песнь Нибелунгов повторяются в русских былинах и народных песнях, которые начались со времен богатырей при дворе князя Владимира, дружины Игоря и Ильи Муромца, через Ивана Грозного, Петра Великого и пожар Москвы, остаются и по сей день плодотворными и полными жизни. Но из этих двух миров поэтического творчества исходят очень различные предчувствия. Русская жизнь имеет иной исходный смысл, чем наша» [6, с. 2].

На поверхностный взгляд может показаться, что символ бесконечности фаустовской души близок и русским — перемещения паломников, странничество, так выразительно описанное в рассказах Лескова и Горького, крестьяне тысячами перемещались в знаменитый «Юрьев день», а с его отменой — бежали на вновь открытые земли южно-русских степей, на Кавказ, в Туркестан, за Урал. Этому способствовало непрекращающееся расширение государства до природных границ морей и высоких гор. Еще в XVI в. была заселена Сибирь до Байкала, а в XVII в. — до Тихого океана. Можно еще вспомнить мистические стремления в Византию и Иерусалим. «Но все это ничего общего не имело с Западом, — отмечал Шпенглер, — ... бесконечные дали создали смиренную, стойкую к трудностям народность, но без личной воли, склонную к рабству. Это как раз и является предпосылкой большой политики от Чингизхана до Ленина. Да и для крестьянина родина — не его деревня, ландшафт его рождения, а дальние русские равнины» [6, с. 2].

Даже экономически русский народ жил собственной «неевропейской жизнью». «Торговая семья Строгановых, которая при Иване Грозном начала освоение Сибири своими силами и предоставила в распоряжение царя собственные владения, не имела ничего общего с великими деловыми людьми Запада того времени. Еще веками ожидала бы огромная страна со своим скитающимся народом своего будущего, будучи, тем временем, объектом западноевропейских колонизаторских устрем-

лений, если бы не появился человек чудовищного всемирно-политического значения — Петр I» [6, с. 3].

Изменение в судьбе целого народа, которое произвел Петр I, по последствиям не имеет аналогов в истории. Его воля вытащила Россию из азиатской зависимости и сделала ее государством западного стиля. Петр I стремился вывести континентальную Россию к морю, сначала, безуспешно, к Азовскому, а затем, с продолжительным успехом, к Балтийскому. Тому, что берега Тихого океана были уже достигнуты, он не придавал никакого значения. Балтийское побережье было для него мостом в «Европу». Там он основал Санкт-Петербург, город с немецким названием, город-символ. Управление и законодательство государства строится им на чужой манер. Возникает общество, отличающееся от крестьянской массы одеждой, нравами, языком и мышлением. В городах создается высший слой с легким западным налетом. Разыгрывается немецкая ученость и французские манеры. Вторгается едва понятый, непереваренный, роковой общеевропейский рационализм. Екатерина II, немка, считает необходимым изгнать или посадить в тюрьмы писателей склада П. Новикова и А. Радищева, которые хотели испробовать идеи Просвещения на «русскости» и ее политических и религиозных формах. Становится иной и экономика. Наряду с древнерусским речным передвижением возникает морская торговля с дальними портами. Над торговыми привычками, как у Строгановых с их караванной торговлей с Китаем и Нижегородской ярмаркой, надстраивается западноевропейское мышление с банками и биржами. Рядом со старыми мастерскими и горным промыслом на Урале, которые работали по старинке, возникают фабрики, машины и, в конце концов, железные дороги и пароходы.

Но, прежде всего, возникла политика западного стиля, опирающаяся на армию, которая была выучена не на традиции борьбы с татарами, турками и киргизами, а на традиции борьбы с западными армиями на западной земле, и которая своим существованием соблазняла вновь и вновь петербургскую дипломатию видеть политические проблемы только на Западе.

Вопреки всем слабостям искусственного творения, состоящего из противоречивых субстанций, петровство представляло собой в течение 200 лет своего существования нечто могущественное. То, что построил Петр I, может быть понято и оценено глядя из далекого будущего на развалины, которые от него останутся. Он расширил «Европу», как минимум, до Урала и создал единую культуру. Государство, которое простирается от Беренгова пролива до Хиндукуша, было «европеизировано» в такой степени, что различий между городами, скажем, в Ирландии и Португалии и в Туркестане или на Кавказе в начале XX в. почти не имелось. По Сибири путешествовали безопаснее и удобнее, чем по некоторым западноевропейским странам. Сибирская железная дорога была последним триумфом петровской воли накануне ее краха [6, с. 4].

Но эта внешняя сторона петровства скрывает внутреннюю его судьбу. Оно было и осталось чужеродным телом в русскости. В действительности имелась не одна Россия, а две, — видимая и истинная, официальная и тайная. Чуждый элемент внес яд, от которого могучий корпус заболел и умер. Это был непонятный и недоступный русскому мышлению дух западного рационализма XVIII и XIX вв., которые в форме русского нигилизма вели свое карикатурное и опасное существование в среде городской «интеллигенции». Возник тип русского интеллигента, который, как реформированный турок, китаец или индус, при соприкосновении с

Европой душевно и духовно опошлится, опустошится и испортится до цинизма. Началось это с Вольтера и велось через Прудона и Маркса к Спенсеру и Геккелю. Именно высший класс времен Толстого разыгрывал из себя высокомерных, желающих быть остроумными, неверующих и враждебных традиции людей. И это мировоззрение устремлялось вниз, к «дрожжам» больших городов — литераторам, народным агитаторам и студентам, которые «шли в народ» и там пробуждали ненависть к высшему обществу западного стиля. Результатом этого процесса стал доктринерский большевизм.

В начале развилась русская внешняя политика, которая была на Западе замечена и даже очень чувствительно. Сама же русская народность была невидима и, в любом случае, не понимаема. Она воспринималась как безобидный этнографический курьез, которому подражали на маскарадах и в опереттах [6, с. 5].

В России протекали два чуждых и враждебных друг другу течения. Первое — древнее, инстинктивное, неясное, бессознательное, тайное, которое имеется в душе каждого русского, — мистическое стремление на юг, в Константинополь и Иерусалим, действительное настроение крестовых походов, какое вряд ли находит у нас сочувствие сегодня. А над ним располагалось второе — официальная внешняя политика дипломатии великой державы: Санкт-Петербург против Москвы! У России существует потребность играть значительную роль в мире, быть признанной и равноправной в «Европе». Отсюда сверхвежливая форма, отличные манеры, безупречный вкус — то, что уже в Париже времен Наполеона III было в упадке. Хороший тон западноевропейского общества был знаком некоторым петербургским кругам. При этом, никто из этих кругов не любил западноевропейские народы. Восхищались, ценили, подтрунивали, презирали их, но обращались с ними сообразно выгоде, которую можно практически от этого получить. Но для честолюбивого высшего слоя русских Россия была будущим господином Европы: духовно и политически. Уже Наполеон чувствовал это.

Русская армия стояла на западных границах, обученная в западном стиле и подготовленная к ведению войны на западной территории и против западного противника. Поражение в японской войне 1905 г. было вызвано недостаточной обученностью для ведения боевых действий на иных, неевропейских аренах. Русской внешней политике успешно служила система посланников в крупнейших городах Запада, которую советское правительство заменило агитационными центрами коммунистических партий. Екатерина Великая забрала Польшу и устранила тем самым последний барьер между Востоком и Западом. Вершины достигла эта политика символическим вхождением Александра I, «спасителя Европы», в Париж. На Венском Конгрессе Россия была решающей силой, также как и в Священном Союзе, вызванном к жизни Меттернихом в качестве оплота традиции против западной революции, что затем дало повод Николаю I навести порядок в габсбургской империи в интересах ее правительства. Так при помощи успешной деятельности петербургской дипломатии Россия все глубже погружалась в большую политику Запада. Она участвовала во всех интригах и комбинациях, которые не только далеки русскости, но и совершенно ей непонятны. Армия на западных границах была после разгрома Наполеона I самой многочисленной, хотя Россия была единственной страной, на которую никто в то время не намеревался нападать. Тогда же Германия подвергалась угрозе со стороны Франции и России, Италия — со стороны Франции и Австрии, Австрия — со стороны Франции и России. С Россией же

постоянно искали союза с тем, чтобы иметь на своей стороне русскую армию как козырь в политической игре, возбуждая честолюбие русского общества и его стремление к борьбе за нерусские интересы. Мы все выросли под впечатлением, что центральная Россия — это великая держава, а земля по ту сторону Волги — это ее колония. Центр тяжести государства лежал, безусловно, к западу от Москвы, но никак не на Волге. Также думал и образованный русский. Он считал ощутимое поражение на Дальнем Востоке в 1905 г. незначительным колониальным приключением, а малейшее поражение на западных границах — позором в глазах Запада. На юге и севере государства был создан флот, который был нужен не столько чтобы защищать побережья, сколько чтобы играть важную роль в большой политике Запада.

3. Но если дела обстояли так, как их описывал Шпенглер, значит, Россия стала частью Европы, а ее история — частью европейской истории и двойственный ее лик стал одномерным — европейским? Оказывается, по мнению Шпенглера, дела обстоят иначе. Была всегда более или менее сильная оппозиция петровской воле. Началась она еще со стрельцов, сына Алексея, самосожжений и бегства в леса старообрядцев и вызвала к жизни в 30—40-е гг. XIX в. узкий круг мыслителей-славянофилов. Казалось, что это все находится на обочине общественной жизни России.

Но уже турецкие войны за освобождение христианского народа Балкан глубоко задели русскую душу. Россия как наследница Византии — такова была мистическая идея. На этот счет не имелось никаких различий во мнениях. Это была Божья воля. Только турецкие войны были действительно народными. Александр I опасался, и не без основания, предательского убийства офицеров-заговорщиков. Весь офицерский корпус хотел войны с Турцией, а не с Наполеоном. Это привело к союзу Александра с ним в Тильзите, определившему на некоторое время дальнейший ход мировой политики. Примечательно то, что Ф. Достоевский, в отличие от А. Толстого, пришел в экстаз от войны 1877 г. Он оживился, писал, не переставая, свои метафизические видения и проповедовал религиозную миссию русского духа в отношении Византии.

Как уже было сказано, образованные, неверующие, западномыслящие русские имели в душе общее мистическое стремление к Иерусалиму. «Третий Рим» киевского монаха Филофея должен был после папского Рима, лютеровского Виттенберга, через святую Русь исполнить послание Христа. В то время как на Западе было задето национальное тщеславие, на Востоке — нарушено спокойствие, на Юге русская душа была поражена и взволнована. Отсюда и большой успех позднего славянофильского движения, которое не пыталось приобрести ни Польшу, ни Чехию, а только лишь освободить славянских христиан Балкан, соседей Константинополя. И война с Наполеоном была священной не из-за пожара Москвы, разрушения и грабежа русских территорий, а из-за планов Наполеона, который, завоевав иллирийскую провинцию (позднее территорию Югославии) в 1809 г., стремился господствовать на Адриатическом море и с помощью Турции и Персии проложить путь на Индию. «Ненависть к Наполеону перенеслась потом на Габсбургскую монархию, когда ее притязания на турецкую область, со времен Меттерниха — на устье Дуная, а с 1878 года — на Салоники, начали представлять угрозу русским планам. Она распространилась со времен Крымской войны на Англию, когда та, с помощью закрытия пролива и последующего занятия Египта и Кипра, также, казалось, стала претендовать на турецкое наследство» [6, с. 7].

В конце концов и Германия стала объектом глубокой ненависти, когда она с 1878 г. начала превращаться из союзника в защитника разрушающегося габсбургского государства и, вопреки предупреждениям Бисмарка и последнего, дружески настроенного по отношению к немцам русского дипломата графа Витте, сделала свой выбор между Россией и Австрией в пользу последней. Конечно, можно было бы еще в 1911 г. переориентировать общую немецкую политику, оставив Австрию на произвол судьбы, но этого не произошло.

Ненависть к Германии начинает расти во всех слоях русского общества после Берлинского конгресса, на котором Бисмарк в интересах удержания мирного равновесия в Европе пытался ограничить действия русской дипломатии. С точки зрения Германии это было, вероятно, правильно. В глазах Петербурга это было ошибкой. Бисмарк отнял надежду русской души на турецкое наследие в пользу Англии и Австрии. Эта вражда росла и охватывала все слои общества. От нее на время отказались, когда внезапно возникшая японская мощь изменила состояние мировой политики и заставила рассматривать дальневосточную границу как зону опасности. Но это было скоро забыто, прежде всего вследствие гротесковых неудач немецкой политики, которая, казалось, решила ради идеи Берлин — Багдад сама завоевать путь через Константинополь [6, с. 8].

В экономической жизни России, также как и в политической, сосуществуют опять же два течения, из которых одно действовало как нападающее и пронизывающее, в то время как второе вело себя в полном смысле слова как страдающее. Это было старорусское крестьянство с его примитивным сельским хозяйством. К этому течению принадлежит и русский купец с его ярмарками, фрахтами, волжскими судами. Оно включало в себя также русское ремесло и самобытный горный промысел на Урале, которые развивались независимо от западных методов и опыта из древних дохристианских «кузнецов», так как здесь обработка железа была открыта еще во II тысячелетии до новой эры, о чем еще греки имели смутное представление. Но над всем этим простирался набирающий силы цивилизованный мир западной городской экономики с ее банками, биржами, фабриками и дорогами. Денежная экономика противостояла товарной экономике. Они задевали, ненавидели или презирали друг друга, пытаясь уничтожить одна другую. Уже петровскому государству нужна была денежная экономика, чтобы оплачивать его большую политику западного стиля, войска, государственный аппарат управления с его постоянной и явной коррупцией, по своей сути отличавшийся от тайной коррупции западноевропейских парламентариев. Теперь же государство поддерживает и усиливает экономическое мышление, ориентированное западно-капиталистически. Такое направление не было присуще русскости и не понималось ею [6, с. 9].

Но не это доктринерское, литературное течение в городских низах было решающим для будущего, а глубокая, инстинктивная и религиозная антипатия к западным экономическим формам вообще. «Деньги» и все зависимые от них экономические формы, капиталистическая и социалистическая, считались грешными и сатанинскими. Страх перед «прибавочной стоимостью» приводил большое число русских к самоубийству, потому что, имея примитивные чувства и мысли, они не могли себе представить ни одного вида занятий, посредством которого не «эксплуатировался» бы человек человеком. Это русское мышление заметило в капитализме врага, яд, огромный грех, который оно приписывало петровскому государству, несмотря на глубокое почитание царя-батюшки [6, с. 9].

Из этих глубоких и разнообразных корней выросло мировоззрение интеллектуального нигилизма, который принес плоды в виде большевизма, разрушил петровскую систему и на ее месте создал что-то свое, что было бы совершенно невозможно на Западе. Столько ненависти было в душах верующих славянофилов к Петербургу и его духу, ненависти крестьян к Миру, деревенскому коммунизму, который противоречил родовому крестьянскому инстинкту собственника, ненависти всех к капитализму, ко всей промышленной экономике, машинам, дорогам, к государству и армии, которые защищали этот циничный мир от взрыва русского инстинкта, религиозной ненависти к непонятым, а потому считающихся безбожными силам, что их хотелось бы не только преобразовать, но и вовсе уничтожить, придав тем самым своей жизни утраченное смысловое значение.

Крестьяне презирали «интеллигенцию» и ее агитацию, но тем не менее эта агитация привела к власти множество изворотливых и недобросовестных людей. Но и ленинизм — это тоже западное создание. Петербург был и остается огромному числу русских чужим, враждебным и ненавистным городом, который со временем каким-либо образом исчезнет. Октябрьское восстание — это восстание против Запада по меркам западного мышления. Новая власть старается сохранить без изменений экономические формы промышленного производства и капиталистической спекуляции, как и прежнее авторитарное государство, с той лишь разницей, что на месте частнокапиталистических экономических форм появился государственный капитализм, а на месте царского правительства — правительство одной политической группировки, называющей себя, в соответствии с доктриной, коммунистической [6, с. 10].

Это была новая победа Петербурга над Москвой и, без сомнения, последняя, окончательное саморазрушение петровской системы снизу. Но настоящая жертва переворота — это как раз тот элемент, который надеялся с его помощью освободить себя: подлинный русский — крестьянин, ремесленник, верующий. Западные революции, английская и французская, хотели с помощью теорий усовершенствовать уже нечто выросшее, и именно поэтому им это никогда не удавалось сделать. Здесь же, в России, был превращен в ничто без сопротивления целый мир. Только искусственность творения Петра Великого дает объяснение тому, как маленькая группа революционеров, почти без исключения глупцов и трусов, смогла совершить этот переворот. Петровство было великолепным сиянием, которое внезапно рассеялось.

Большевизм первых лет, как и многое другое в «ликах России», имел двойной смысл. Он уничтожил искусственное, враждебное народу образование, неотъемлемой частью которого он сам и был. И этим он помимо собственного желания освободил путь для новой культуры, которая когда-нибудь однажды пробудится на просторах между «Европой» и Восточной Азией. Поверхностный, чуждый и переходящий характер большевизма состоит в том, что он является попыткой изменить только лишь общественную надстройку петровской системы в соответствии с теорией Маркса. В глубине же исторического бытия России лежит местное крестьянство, которое составило, без сомнения, большую часть успеха революции 1917 г., чем интеллектуальный сброд. Верующее крестьянство становится смертельным врагом большевизма и подавляется им сильнее, чем монголами и прежними царями. Но, несмотря на это, а как раз вследствие этого подавления, у крестьянства вырабатывается воля к противодействию. Это народность будущего, которая не

позволит себя подавить, но которая, в конечном счете, до неузнаваемости изменит большевизм или вовсе уничтожит его. Как это произойдет, никто пока не знает. Это зависит, среди прочего, от наличия или отсутствия решительных фигур, которые подобно Чингизхану, Ивану IV, Петру Великому могли бы взять в свои железные руки судьбу народности. «И опять же здесь стоит Достоевский против Толстого: будущее против настоящего. Достоевского называли реакционером, потому что он в своих «Бесах» совсем не видел особой проблемы нигилизма. Подобное явление было для него только частью петровской системы. Но Толстой, представитель высшего общества, жил в этом элементе; он представлял феномен нигилизма в форме своего возмущения и протеста в западной форме против Запада. Толстой, а не Маркс — вот настоящий проводник большевизма. Достоевский — его будущий ликвидатор» [6, с. 11].

Здесь мы видим новую народность в ее становлении, душевная экзистенция которой подвергается страшным испытаниям судьбы и, благодаря духовному сопротивлению, в этих испытаниях закалится и расцветет страстной религиозной силой, какую западноевропейцы уже на протяжении многих веков не проявляют. Эта сила может стать огромной, если только религиозный порыв направится на определенную цель. Такая народность не считает жертв, которые она приносит во имя идеи, так как она молода, сильна и плодovита. Глубоко почитаемые «святые крестьяне», которых правительство часто ссылало в Сибирь или уничтожало, такие символические фигуры, как священник Иоанн Кронштадтский и даже Распутин, а также Иван Грозный и Петр Великий, пробудят в своих «недрах новый тип вождей, вождей для крестовых походов и сказочных завоеваний». Мир повсюду уже достаточно устал и изорвался, полон только религиозных ожиданий, не будучи при этом религиозно плодотворным, чтобы неожиданно, по обстоятельствам, получить иной лик. В этом смысле, вероятно, большевизм при новых вождях сам себя изменит, но, возможно, и нет. «Потому что эта господствующая орда, сообщество, как когда-то монголы Золотой Орды, постоянно смотрит на Запад взглядом Петра Великого, сделавшего целью своей политики отчизну своих мыслей. Но молчаливые русские низы уже забыли Запад и смотрят на Малую и Восточную Азию, народ великих пространств суши, а не морей» [6, с. 11—12].

В этой ситуации Шпенглер считает самой роковой ошибкой Запада очередной «крестовый поход» западных держав против России. «Тихий поезд России идет в Иерусалим и во внутреннюю Азию, и врагом ее всегда станет тот, кто эти пути преградит» [6, с. 12]. Данилевский явно бы поаплодировал этому высказыванию, ибо оно совпадало с его собственными пророчествами и желаниями.

4. Далее Шпенглер так оценивает ситуацию 20-х гг. нашего века. Он считает, что потеря Балтийских провинций не сильно тревожит русских. Петербург, брошенный на произвол судьбы, превратился в городские руины петровских планов. Старая Москва вновь стала центром государства. Но планы захвата Турции и ее раздел на зоны влияния между Францией и Англией, основание малой Антанты Францией, которая поставила под угрозу выход России к югу со стороны Румынии, а также французские попытки с помощью восстановления Габсбургской империи господствовать по линии Дуная и на Черном море делают Англию и, прежде всего, Францию объектами русской ненависти. «Византия есть и останется святыми воротами будущей русской политики, как, с другой стороны, внутренняя Азия — это уже больше не завоеванная территория, а часть священной земли русского народа» [6, с. 12].

Немецкая политика по отношению к этой быстро меняющейся, становящейся, растущей России нуждается в политическом мастерстве большого государственного деятеля и знатока этого вопроса. Шпенглер признается, что он такого не знает. «Что мы не враги России, это само собой разумеется, но чьим другом, — спрашивал он, — должны мы быть: сегодняшней России или завтрашней? Может быть обеих, или одно исключает другое? Не вырастет ли из неблагоприятных связей новая вражда?» [6, с. 13].

Шпенглер полагал, что очень трудно разглядеть тенденции настоящей и будущей русской экономической жизни, которая только поверхностно охвачена государственным капитализмом, а в глубине подчинена почти религиозному восприятию и строго отделена от большой политики. Но поэтому из-за границы правильно ее проанализировать еще труднее. Россия при последних царях внешне являла собой экономический образ вполне европейского типа. Большевицкая Россия хотела бы стать не только такой же, а более того, в своем коммунистическом варианте стать даже образцом для Запада. Но рассматриваемая с точки зрения западной экономики Россия — это фактически огромная сырьевая территория, население которой занято крестьянским трудом и ремеслами. Промышленность и ею созданные грузовые железнодорожные перевозки, сбыт товаров через оптовую торговлю были и остаются ей внутренне чуждыми. «Экономический организатор, фабрикант, инженер и изобретатель — это не русские типы. Настоящий русский разрешает чужому то, что себе запрещает, к чему он внутренне совершенно не приспособлен. Во времена крестовых походов молодые народы севера были совершенно чуждыми городской жизни и вели только сельский образ жизни в маленьких городах, посадах и поместьях, которые экономически были только рынками. Евреи и арабы были в культурологическом измерении на 1000 лет «старше» и находились поэтому в своих гетто как знатоки денежной экономики больших городов. Такое же положение занимает западноевропейец в сегодняшней России» [6, с. 13—14].

Машинная промышленность, по духу своему не русская, будет восприниматься русским и в будущем как чуждая, греховная и бесовская. Он терпит ее и даже ценит, подобно японцу, только как средство для достижения материальных целей, но никогда ею не поглотится, как это выглядит у германских наций, которые из их динамического мироощущения, как знак и средство их воинственного бытия, эту промышленность создали. В России же она будет находиться, по существу, всегда в чужих руках или под руководством чужих, хотя русский всегда будет стараться различать, чьим интересам она служит [6, с. 14].

Что же касается денег, то города для русских — рынки для движения сельскохозяйственной продукции, для Запада же с VIII столетия это — центры денежного обращения. Экономическое «мышление в деньгах» еще долгое время будет русским недоступно, и Россия, с точки зрения иностранной экономики, колония.

Но немецкая экономика не может использовать эти возможности без обеспечения их взвешенной политикой. Без этого разовьется хищническое отношение к этим возможностям, которое оставит после себя плохое наследство. Поэтому первая задача немецких социологов и экономистов — помочь привести в порядок немецкую внутреннюю политику, создав тем самым предпосылки для соответствующей и достойной их планов внешней политики. Речь идет не о подчинении политики сиюминутным интересам отдельных групп, как это происходило до сих пор, на примере низкопробной партийной политики. Речь идет не о преимуществах на

пару лет. Крупное сельское хозяйство перед войной и крупная промышленность после войны совершенно неудачно пытались подчинить государственную политику своим маленьким сиюминутным выгодам. «Но время малой тактики уже прошло. В следующих десятилетиях речь должна идти о проблемах всемирно-исторических измерений. Здесь экономика всегда будет зависеть от уровня большой политики, но не наоборот. Экономисты обязаны учиться мыслить чисто политически, а не политэкономически. Таким образом, условие для большой экономической работы на Востоке, заключает Шпенглер, — это порядок в собственной политике» [6, с. 15].

Как же мы можем оценить нарисованную Шпенглером картину? В первую очередь следует отметить два момента. Во-первых, характеристика славянской истории, русской культуры, реформ Петра I, нигилизма, подражания Западу, сопоставление Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого со всеми ее ошибками и проницательностью во многом усвоены им из работ славянофилов разных поколений. Тут нет личных откровений, а есть ученическое повторение. Во-вторых, его откровенно-почтительное уважение к неевропейской русской культуре и призыв к сотрудничеству и обдуманной политике Германии в отношении с Россией носил скорее характер «желаемого», чем реалистического. Мы знаем, как нацистская Германия ответила на этот призыв. И уже во время штурма Берлина советскими войсками Гитлер признался приближенным, находившимся рядом с ним в бункере: «... вероятно, «славянский тип» выше германского». Через десять лет после доклада Шпенглера, основные положения которого мы привели выше, Геббельс обратился к нему с предложением о тесном сотрудничестве на почве идеологии. Но Шпенглер отнесся скептически к «тевтонским» притязаниям нацистов и их мечтаниям о восточных территориях. Здесь он оказался прав. В ответ нацисты изъяли его сочинения из общественных и университетских библиотек, запретили чтение лекций и публицистическую деятельность. Он был объявлен «врагом германского народа и нацистской революции». Но вернемся к академической стороне дела.

Итак, в оценке судьбы и исторической роли России Данилевским и Шпенглером есть важные совпадения, но есть и не менее существенные отличия. Шпенглер, в отличие от Данилевского, предсказывал России судьбу сырьевой колонии, что машинная промышленность, банковское дело и индустриализация по духу своему чужды русскому как деятельность греховная, противоречащая его пониманию мира. Данилевский бы с этим категорически не согласился. Впрочем, оба были согласны с византийскими корнями российской самобытности. Но если Данилевский призывал их беречь, холить и противопоставить (вплоть до войны) Западу, то Шпенглер призывал к гибкому и мирному «сосуществованию» Западу и Востока как автономных мировых культур. Одинаково они оценивали и петровскую реформу. Шпенглер с присущим ему литературным мастерством описал ее как «историческую метаморфозу», т. е. случай, когда более старая, глубинная культура властно тяготеет над исторически молодой культурой, в силу чего «юные чувства застывают в старческие произведения, и вместо свободного развертывания собственных творческих сил только ненависть к чужому насилию вырастает до гигантских размеров». [7, с. 26—27]. Русский народ, был искусственно принужден к неподлинной истории, и дух «исконной русской сущности был просто-напросто непонятен» [7, с. 29—30]. Из этого плачевного обстоятельства, по его мнению, могли проистекать драматические коллизии и беды как для самой России, так и для Европы.

Литература

1. Sorokin P. A. *Social Philosophies of an Age Crisis*. Boston: Porter Sargent Publisher, 1950. Через 14 лет второе, расширенное издание книги вышло под другим заглавием — *Modern Historical and Social Philosophies*. Ср. также — Sorokin P. A. *Sociological Theories of Today*. N.Y., London: Harper and Row, 1966.
2. Мак-Мастер R. E. *Danilevsky and Spengler: New Interpretation* // *The Journal of Modern History*. 1954. Vol. XXVI. № 2.
3. Шпенглер О. *Закат Европы: Очерки морфологии мировой культуры*. Т. 1. Пг.; М.: Л.: Френкель, 1923.
4. Сербенко Н. И., Соколов А. Э. *Кризис культуры как исторический феномен: Данилевский, Шпенглер, Сорокин* // *Философские науки*. 1990. № 7.
5. Соколов Э. В. *Культурология: Очерки теорий культуры*. М.: Интерпракс, 1994.
6. Spengler O. *Das Doppelantlitz Russlands und die Deutsche Ostprobleme* // *Politische Schriften*. München: Verlag C. H. Beck, 1933.
7. Шпенглер О. *Закат Европы*. Т. 2 // *Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе*. М.: Изд-во политической литературы, 1991.